

И. С. Тургеневъ

(1883 — 1933).

Въ другомъ мѣстѣ, по поводу пятидесятилѣтія кончины И. С. Тургенева мнѣ пришлось назвать его русскимъ европейцемъ. Этимъ я объяснялъ особенности его личности и его положенія сравнительно съ двумя другими гигантами русской литературы, Толстымъ и Достоевскимъ, въ которыхъ русская стихія бродила безъ европейскихъ сдержекъ. Этимъ же объясняется и то множество перетолкованій, которымъ подверглась сложная натура Тургенева съ самыхъ разнообразныхъ, но специфически русскихъ точекъ зрѣнія. Не посчастливилось нашему писателю ни при жизни, ни по смерти. Судили и осуждали его и современныя ему русскіе радикалы, и позднѣйшіе русскіе эстеты. Для однихъ онъ былъ недостаточно политикомъ, для другихъ — чересчуръ. Однимъ онъ казался недостаточно реалистомъ, другимъ — недостаточно мистикомъ. Правые современники считали Тургенева опаснымъ революціонеромъ, а лѣвые — чрезмѣрнымъ консерваторомъ. И самая личность его подвергалась съ разныхъ сторонъ недружелюбному разбору. Головачева-Панаева зло высмѣяла маленькія человѣческія слабости Тургенева-юноши — слабости, отъ которыхъ онъ отдѣлался въ зрѣлыя годы. Его новѣйшій біографъ, Б. К. Зайцевъ съ искусствомъ опытнаго романиста распуталъ тончайшія нити сердечныхъ отношеній Тургенева. Но «Афродита Земная» получила при этомъ слишкомъ большое преимущество надъ «Афродитой Небесной», — и Тургеневъ вышелъ въ этой біографіи апоуцене сильно уменьшеннымъ — даже въ этой области своей сердечной жизни. Я уже имѣлъ случай сравнить истинно-европейскую среду поэзіи и культуры, въ которую привело Тургенева его «однолюбіе», съ семейной трагедіей Толстого и съ *terre-à-terre* романа Достоевскаго.

Что дѣлать! Чтобы быть въ модѣ у тогдашняго читате-

ля, — а быть может и у позднѣйшаго, нужно было, пользуясь извѣстнымъ противопоставленіемъ самого Тургенева, быть не «Гамлетомъ», а «Донкихотомъ». Этотъ литературный и человѣческій контрастъ, разработанный въ статьѣ Тургенева, писавшейся въ 1856 году, «почти совершенно готовой» въ 1857 г. и прочтенной въ видѣ рѣчи въ 1860-мъ, недаромъ сопровождалъ писателя до самой его смерти. «Масса идетъ за тѣмъ, кто вѣритъ, кто проявляетъ страсть, энтузіазмъ къ идеѣ, которой служить, хотя бы это служеніе было безумствомъ». Она не идетъ за тѣмъ, кто «самъ никуда не идетъ», кто занимается «безплоднымъ самсанализомъ». Контрастъ очень рѣзокъ — и Тургеневъ самъ объ этомъ предупреждаетъ. Но, несомнѣнно, говоря о вѣчной борьбѣ началъ гамлетизма и донкихотизма въ каждомъ изъ насъ, онъ прежде всего провѣрялъ на самомъ себѣ свои тонкія наблюденія. Онъ чувствовалъ, что самъ онъ ближе къ Гамлету, нежели къ Донкихоту. Не было у него этихъ двухъ вещей, необходимыхъ для вождя массы: не было доктринерства и страсти. Онъ былъ одинаково и противъ праваго и противъ лѣваго «донкихотства».

Но что же есть у Тургенева? Чѣмъ онъ плѣняетъ сердца — пусть не толпы, а хотя бы «избранныхъ»? Прежде всего, конечно, мы имѣемъ тутъ громадный художественный талантъ, великую силу творчества. Но эта черта свойственна не ему одному. Самъ онъ принижалъ себя передъ Толстымъ и одно время преклонялся передъ Достоевскимъ, хотя и ясно видѣлъ художественные недостатки обоихъ. Затѣмъ, — глубокій умъ — не разлагающій умъ, не «безплодный анализъ» Гамлета, а умъ синтезирующій, организующій впечатлѣнія художника и властвующій надъ ними. Одному молодому дебютанту на вопросъ, что нужно, чтобы писать романы, Тургеневъ далъ любопытный отвѣтъ (1876). Прежде всего, необходимо быть «объективнымъ писателемъ». А это значить — излагать не «собственные чувства и мысли» по поводу изображаемаго, а «точно передавать, что вы ощущаете при видѣ его». Однако этой одной предпосылки недостаточно. И Тургеневъ продолжаетъ: «нужно еще читать, учиться безпрестанно, вникать во все окружающее, стараться не только уловлять жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, но и понимать ее — понимать тѣ законы, по которымъ она движется и которые не всегда выступаютъ

наружу. Нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ — и со всѣмъ тѣмъ всегда оставаться вѣрнымъ правдѣ, не довольствоваться поверхностнымъ изученіемъ, чуждаться эффектовъ и фальши».

Въ этомъ объясненіи — ключъ къ пониманію творчества Тургенева, медленности и сложности его работъ, его подъема отъ портрета къ типу. Но и это еще не все. Тургеневъ ставитъ третье условіе. Надо быть глубоко образованнымъ человѣкомъ — въ курсъ стремленій своего времени, съ широкимъ кругозоромъ, не прикованнымъ къ одной точкѣ, не связаннымъ одной идеей. «Нужна образованность, повторять онъ. Нужно знаніе... Ничто такъ не освобождаетъ, какъ знаніе».

Вотъ это соединеніе художественнаго таланта, глубокаго ума и широкой, истинно европейской образованности составляетъ неотъемлемую особенность, индивидуальную черту Тургенева, его исключительное состояніе среди другихъ корифеевъ русской литературы. Оно ставитъ его внѣ партій, внѣ крайностей; оно обезпечиваетъ ему ясность взгляда и господство разсудка надъ страстью; оно объясняетъ сдержанность сужденій Тургенева, его способность считаться съ дѣйствительностью и предвидѣть послѣдствія. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ цѣнить его сужденія о другихъ акемеитыхъ современникахъ. Вотъ, напр., сужденіе о Толстомъ (1875): «талантъ изъ ряду вонъ, но въ «Аннѣ Карениной» онъ a fait fausse route: вліяніе Москвы, славянофильскаго дворянства, старыхъ прѣвславныхъ дѣвъ, собственнаго уединенія и отсутствія настоящей художественной свободы». О Достоевскомъ сужденіе строже: это «сумасшедшій, унижающій свое дарованіе до памфлета».

Есть еще четвертая черта, которую надо присоединить къ тремъ предъидущимъ: это мужество собственнаго сужденія — вопреки всему: модѣ, господствующей доктринѣ, невыгодному впечатлѣнію окружающихъ — даже друзей. Тургенева обвиняли въ противоположномъ: въ излишней податливости передъ чужимъ сужденіемъ, даже въ «прислужничествѣ» русской молодежи. Мы прослѣдимъ, въ чемъ сказалось это «прислужничество»; но напередъ слѣдуетъ сказать, что нужно было совершенно не принимать личности Тургенева, чтобы высказывать подобныя сужденія.

Такое непониманіе — довольно естественно со стороны тѣхъ, кто хотѣлъ видѣть въ Тургеневѣ только литератора и поэта. Но Тургенева нельзя отдѣлять отъ эпохи, въ которой онъ жилъ и историкомъ которой — въ полномъ смыслѣ этого слова — онъ является. Если теперь вошло въ обычай выдвигать впередъ лирическія вещи Тургенева и считать устарѣлыми его эпопею русской культурной и политической жизни, т. е. большую и важнѣйшую часть его произведеній, то въ этомъ нельзя не усматривать какого-то преходящаго недоразумѣнія, можетъ быть, связаннаго съ литературными вкусами момента. Но вкусы пройдутъ и замѣнятся другими, а зтотъ продуктъ тургеневскаго творчества останется и будетъ всегда привлекать къ себѣ людей, желающихъ понять наше прошлое. О немъ, собственно, и будетъ моя дальнѣйшая рѣчь.

Чтобы провѣрить проекцію личности Тургенева, какъ она охарактеризована выше, на фонѣ русской жизни, ему современной, мы остановимся на четырехъ историческихъ моментахъ, смѣнившихся за время жизни Тургенева: на годахъ, когда сложилось мировоззрѣніе Тургенева (30-е — 40-е годы), на моментѣ, когда это мировоззрѣніе дифференшировалось (1855-1863) и на отраженіи этого момента въ «Отцахъ и дѣтяхъ» Тургенева; на началѣ серьезной политической борьбы и на ея отраженіи въ «Нови» и, наконецъ, на такъ наз. «примиреніи съ молодежью» и послѣднихъ литературныхъ планахъ Тургенева (1877-83).

Тридцатые и сороковые годы были свидѣтелями знаменательнаго перелома въ исторіи русской интеллигенціи. Только что отзвучали политическіе мотивы декабристовъ, и средоточіе культуры перешло отъ гвардіи къ университету. Въ студенческой средѣ вырабатывались новые взгляды. Однимъ изъ позднихъ въ эту среду вступилъ и Тургеневъ — и, подобно друзьямъ, Станкевичу, Бакунину, Грановскому, для довершенія своего культурнаго крещенія «бросился внизъ головой въ нѣмецкое море». Что вынесъ онъ изъ Берлинскаго университета? Философію исторіи Гегеля, идею о смѣнѣ народовъ на исторической чредѣ. Тамъ шла рѣчь объ очередномъ молодомъ народѣ, призванномъ смѣнить дряхлѣющую западь. Этотъ народъ тамъ назывался германцами. Но чего легче — продолжить схему. Есть народъ — еще моложе — славяне. За нимъ будущее. Нужно лишь найти вложенную въ славянство отъ вѣка мировую идею. И вотъ идея найдена

— идея съ религиознымъ и социальнымъ отъѣнкомъ, русская крестьянская община. Въ ожесточенныхъ дружескихъ спорахъ посѣтителей московскихъ литературныхъ салоновъ построены были на этой идее, по выраженію Герцена, два противоположныя зданія. Славянофильство: для него община есть основа нашего прошлаго, стержень русской исторической традиціи. Герценъ и позднѣйшіе народники: для нихъ та же община — залогъ будущаго-свободнаго строя. Одинъ изъ этихъ взглядовъ вель къ оправданію реакціи; другой являлся знаменемъ грядущей революціи. Гдѣ же тутъ мѣсто Тургенева?

Тургеневъ «вынулъ» изъ волнъ нѣмецкаго моря «западниксмъ и остался имъ навсегда». Но западникомъ былъ и Герценъ; западникомъ былъ Бѣлинскій. Какъ понять Тургеневъ свое западничество?

Онъ понималъ его вразрѣзъ какъ съ славянофилами такъ и съ радикалами. Тѣ и другіе сходились въ томъ, что одинаково отрицали «гнилой» Западъ во имя восточной «миссии» великаго славянскаго народа-православнаго для однихъ, социалистическаго для другихъ. Въ трехъ письмахъ къ Герцену 1862 г. Тургеневъ пытался разбить это построеніе и связанныя съ нимъ иллюзіи друзей. «Мнѣ начинаетъ сдаваться, что въ столь часто повторяемой антиitezъ Запада, прекраснаго снаружи и безобразнаго внутри; и Ростокъ, безобразнаго снаружи и прекраснаго внутри, лежитъ фальшь. На ней мнѣ видятся бѣлыя нитки и истертые локти, и все твое краснорѣчіе не спасетъ ее отъ зіяющей могилы, гдѣ она будетъ лежать вмѣстѣ съ философией Гегеля и Шеллинга, родовымъ бытомъ славянъ и статьями великаго социалиста Огарева... Россія не Венера Милосская въ черномъ телѣ и въ ухахъ; это такая же дѣвица, какъ и старшія ея сестры... Мы, русскіе, принадлежимъ и по языку, и по породѣ къ европейской семьѣ — *genus europaeum* — и, слѣдовательно, по самымъ неизмѣннымъ законамъ фізіологіи должны идти по той же дорогѣ... А вы... бьете по всему, что каждому европейцу, а потому и намъ должно быть дорого, по цивилизаціи, по законности, по самой революціи, наконецъ». Да, и по революціи, гетсму что «единственная точка опоры для живой революціонной пропаганды — то меньшинство образованнаго класса въ Россіи, которое Бакуининъ называетъ и гнилыми; и оторванными отъ почвы и измѣнниками».

«А гдѣ же народъ? Народъ, передъ которымъ вы презъ»

клонаетесь, консерваторъ par excellence и даже носить въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, что далеко оставить за собой всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты (Герценъ) изобразилъ западную буржуазію». И «приходится вамъ... то восторгаться передъ народомъ, то коверкать его, то называть его убѣжденія святыми и высокими, то клеймить ихъ несчастными, безумными, какъ сдѣлалъ чуть не на одной страницѣ Бакунинъ». Нѣтъ, «роль образованнаго класса въ Россіи быть передателемъ цивилизаціи народу, съ тѣмъ чтобы онъ самъ уже рѣшилъ, что ему отвергать или принимать». И «эта роль еще не кончена».

Какъ видимъ, вспреки всѣмъ соблазнамъ единаго и цѣльнаго міровоззрѣнія, господствовавшаго надъ умами въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій—возрожденнаго и въ наши дни, — міровоззрѣнія, увлекавшаго своихъ послѣдователей то въ правую, то въ лѣвую крайность («донкихотство»), глубокой умъ и широкая образованность Тургенева показали ему путь благоразумія и близости къ истинѣ, — къ реальной русской дѣйствительности. Авторъ «Записокъ Охотника» не пошелъ ни за изувѣрами прощлаго, ни за пропагандистами начинавшатся тогда революціоннаго движенія.

Взглядъ, несомнѣнно, европейскій. Но какъ примирить его со стихіей популярныхъ крайностей — съ русской стихіей? Не безпокойтесь, отвѣчаетъ Тургеневъ. «Насъ хоть въ семи водахъ мой, — нашей русской сути изъ насъ не вывести. Да и что бы мы были въ противномъ случаѣ за плохенькій народецъ». Передъ Тургеневымъ примѣръ Бѣлинскаго. У Бѣлинскаго западническія убѣжденія не измѣнили русской струи; напротивъ, лишь «принимая результаты западной жизни..., соображаясь съ особенностями природы, исторіи, климата — вотъ какимъ образомъ могли мы, по его понятію, достигнуть, наконецъ, самобытности, которою онъ дорожилъ, какъ русскій человѣкъ и патріотъ». Съ подобающей скромностью Тургеневъ прибавляетъ и о себѣ: «не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякаго сочувствія къ русской жизни, всякаго пониманія ея особенностей и нуждъ».

Такимъ вышелъ Тургеневъ изъ поры формировавія сострѣтнутаго міровоззрѣнія: не подражателемъ, а оригинальнымъ мыслителемъ. Посмотримъ теперь, какое мѣсто онъ занялъ въ ряду борящихся воззрѣній въ періодъ

(1856-63), когда шла окончательная дифференціація политическихъ убѣжденій и складывалась та картина ихъ взаимныхъ отношеній, которая просуществовала въ основныхъ чертахъ до послѣдняго времени.

Тургеневъ понималъ, что живетъ въ «переходное время». Онъ даже приурочивалъ къ этому пониманію характера собственной дѣятельности. Преклоняясь передъ Толстымъ, онъ писалъ ему въ 1856 г. «Вамъ остается изучать дѣйствительно великихъ писателей. А я — писатель переходнаго времени и гожусь только для людей, находящихся въ переходномъ состояніи». Смыслъ этого заявленія раскрывается въ одномъ письмѣ къ М-мъ Віардо, написанномъ девятью годами раньше (1847), что всегда свидѣтельствуешь о серьезности засѣвшей въ головѣ Тургенева мысли. «Въ переживаемое нами время всѣ художественныя и литературныя произведенія представляютъ собой, самое большее, отдѣльныя мнѣнія, индивидуальныя чувства, неясныя и противорѣчивыя размышленія... Жизнь раздробилась; нѣтъ больше великаго общаго движенія, — за исключеніемъ, можетъ быть, промышленности».

Въ 1847 г. это звучитъ самосправданіемъ и объясненіемъ, почему нельзя создать ничего великаго. Это своего рода декларация свободы и независимости... отъ «общаго движенія». Но оно началось — какъ разъ съ 1848-го года. И дальнѣйшая фраза письма къ Віардо звучитъ предсказаніемъ, исполненія котораго Тургеневъ еще не ожидаетъ. «Разъ социальная революція совершится, да здравствуетъ новая литература».

Въ 1848 году «социальная революція» была провозглашена, но не «совершилась». Однако, «новая литература» уже появилась — въ ожиданіи социальной революціи. И Тургеневу пришлось опредѣлить свое отношеніе къ ней. Новая литература въ Россіи знаменовала наступленіе новой стадіи русской культуры. Въ литературѣ, какъ и въ жизни, появился разночинецъ и семинаристъ. Тургеневъ былъ русский «баринъ», пользовавшійся всѣми преимуществами своего социального положенія. А тутъ пришелъ въ литературу плебей. Встрѣча — и притомъ самая близкая — должна была произойти неминуемо. Въ 1846 г. Тургеневъ со всей своей компаніей друзей — такихъ же русскихъ и такихъ же «баръ» — съ Боткинымъ, Анненковымъ, Григоровичемъ, — позднѣе съ Л. Толстымъ, — не считая Бѣлинскаго, который самъ былъ «плебей», —

вошелъ въ обновленный пушкинскій журналъ «Современникъ». Но «баре» не умѣли работать, особенно срочно. На это жаловался уже полуплебей Погодинъ, принужденный тащить на себѣ изданіе «Москвитянина», органа московскаго кружка, близкаго Пушкину. Такъ и въ «Современникѣ» мѣсто умершаго рано Бѣлинскаго занялъ другой полуплебей — Некрасовъ. «Вы — дилеттанты въ литературѣ, говорилъ онъ друзьямъ, а я — поденщикъ». И Некрасовъ притянулъ къ постоянной и срочной журнальной работѣ другихъ «поденщиковъ» и совсѣмъ плебеевъ — Чернышевскаго, Добролюбова. Однако же, это было не просто «поденшики». Новый духъ, сказался уже въ томъ, что съ ихъ приходомъ поклоненіе Пушкину символически смѣнилось поклоненіемъ Гоголю. Чернышевскій поддевалъ и закрѣпилъ эту перемену своими Очерками Гоголевскаго (не «Пушкинскаго») періода. Въ то же время, всеяе сеструдики основательно покрывались авторитетомъ покойнаго Бѣлинскаго. Разница старыхъ и новыхъ настроеній особенно сильно сказалась съ перемѣной царствованія, когда печать могла выражать свои мнѣнія уже безъ узды цензуры.

Какъ же отнеслись друзья Тургенева и какъ отнесся самъ онъ къ новому товариществу? Тургеневъ, конечно, не могъ симпатизировать «разрушенію эстетики». Диссертация Чернышевскаго «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности» для него — «отвратительная книга, поганая мертвечина». «Рака, рака, рака: ужаснѣе этого еврейскаго проклятiя нѣтъ ничего на свѣтѣ», пишетъ онъ въ 1855 г. Дружинину, критику въ старомъ духѣ. Не только эти взгляды претяютъ Тургеневу. Ему претитъ все въ новыхъ пришельцахъ: ихъ манера вести себя въ обществѣ, ихъ житейскія привычки, даже ихъ костюмъ. Они ходятъ «въ сюртукѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, съ сомнительной чистоты воротничкомъ, безъ перчатокъ и въ очкахъ». Притомъ они «страшно много знаютъ», «все читали» — и пользуются этимъ преимуществомъ въ безцеремонномъ спорѣ со старыми авторитетами.

Друзья Тургенева — Боткинъ, Григоровичъ — идутъ еще дальше его. И послѣ прочтенія диссертации Чернышевскаго Тургеневъ готовъ покаяться передъ ними. «Я неоднократно имѣлъ несчастье заступаться передъ вами за пахнущаго клопами», пишетъ онъ Григоровичу (1885); «примите мое раскаяніе — и клятву — отнынѣ преслѣд-

вать, презирать и уничтожать его всѣми дозволенными средствами». По письмамъ можно прослѣдить, какъ Тургеневъ охладѣваетъ къ «Современнику», измѣняетъ ему для «Отечественныхъ Записокъ» и даже для «Библиотеки для Чтенія» Дружининской редакціи; какъ онъ наконецъ разрываетъ съ «Современникомъ» окончательно. И однако же: вотъ письмо Панаеву изъ Куртавенеля (1856): «кланяйтесь Чернышевскому; я увѣренъ, что вы вдвоемъ можете очень хорошо вести журналъ». Письмо ему же, тогда-же: «Жму руку Чернышевскому. Продолжаются ли его статьи о Гоголевскомъ періодѣ?» Еще письмо изъ той же серіи: «статья Чернышевскаго меня искренно порадовала — статья прекрасная, и инныя страницы меня истинно тронули». Что это: «слабость характера», «двуличность» Тургенева, какъ склонны были объяснять старые друзья? Но вотъ расчетъ съ ними, въ письмахъ къ Толстому, Анненкову, Дружинину, въ тѣ же осенніе мѣсяцы 1855 г. Привожу цитату изъ послѣдняго письма. «Я досаую, на Чернышевскаго за его сухость и черствый вкусъ..., но мертвечины въ немъ не нахожу—напротивъ, чувствую, въ немъ силу живую... Онъ плохо понимаетъ поэзію... но онъ понимаетъ потребности дѣйствительной современной жизни, — и въ немъ это не есть проявленіе расстройства гечени, какъ говорилъ нѣкогда милѣйшій Григоровичъ (ср. статью Герцена о «желчевикахъ»), а сѣмый корень его существованія... Я почитаю Чернышевскаго полезнымъ».

Пора, наконецъ, подвести итогъ. Этимъ итогомъ явились «Отцы и дѣти» (1861), — романъ напечатанный въ «Русскомъ Еѣстриктѣ» Каткова. Вотъ-то будетъ расчетъ съ этими «мыслящими реалистами»! Каковъ же послѣдній аккордъ, окончательный результатъ этой дифференціи мѣтій? Съ кѣмъ Тургеневъ? Со старыми друзьями или съ новыми идейными противниками? Онъ опять ни съ тѣми, ни съ другими. Онъ — художникъ, — «объективный писатель». Но каково его отношеніе къ избранному имъ герою?

Извѣстенъ шумъ, произведенный «Отцами и дѣтьми» «Холодность близкихъ», «лобзгнія враговъ», вспоминаетъ Тургеневъ. Но извѣстро и отношеніе тогдашней молодежи къ типу Базарова, въ которомъ она узнала своего героя — въ карикатуру. Отсюда идетъ начало глубокаго разочарованія Тургенева отношеніями къ нему публи-

ки. Но послушаемъ его оправданія — или его объясненія? Вотъ цитата изъ письма къ Случевскому въ 1862 г. «Я хотѣлъ сдѣлать изъ Базарова лицо трагическое. Тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до конца ногтей. А вы не находите въ немъ хорошихъ сторонъ? Базаровъ подавляетъ всѣ остальные лица романа». Тургеневъ идетъ дальше. «То, что сказано (оппсентами) о «реабилитированіи» отцовъ, показывають только, что меня не поняли. Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса. Вглядитесь въ (ихъ) лица. Слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хорошихъ представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою мысль. Если сливки плохи, что же молоко?... Графчикъ С-съ былъ неправъ, говоря, что (это)... наши дѣды. Это я, Огаревъ и тысячи другихъ, — наши современники, ...лучшіе изъ дворянъ... Одинокова — представительница нашихъ праздныхъ, мечтающихъ, любоблѣтныхъ или холодныхъ барынь-эпикуреекъ... Ей-бы хотѣлось сперва поглядить по шерсти волка, — лишь бы онъ не кусался... и продолжать лежать вымытой въ бархатѣ». Черезъ двѣнадцать лѣтъ (1874) Тургеневу приходится держать отвѣтъ по поводу того-же Базарова передъ новымъ поколѣніемъ, — и онъ выражается еще опредѣленнѣе. (письмо къ Философовой): «Базаровъ — это мое любимое дѣтище, изъ-за котораго я разсорился съ Катковымъ, на котораго я потратилъ всѣ находящіяся въ моемъ распоряженіи краски. Базаровъ — этотъ умница — этотъ герой-карикатура! И Герцену въ 1862 г. Тургеневъ писалъ: «это торжество демократіи надъ аристократіей... Слѣдять Базарова волкомъ и все-таки оправдать — это было трудно».

Итакъ, въ рѣшительный моментъ окончательнаго расхождения Тургеневъ жертвуетъ своими правыми друзьями, стирято заявляя при этомъ: «Если Базаровъ называется нигилистомъ, то надо читать: революционеромъ. Я раздѣляю, за исключеніемъ воззрѣній на искусство, почти всѣ его убѣжденія». Что же, въ этомъ признаніи — почти вызовъ — Тургеневъ «квыркается» передъ молодежью, какъ печатно заявилъ Катковъ? Или и здѣсь обнаруживается чисто-европейское прозрѣніе и глубокое пониманіе «причинъ» грудущихъ событій?

Окончательный отвѣтъ на это мы получимъ, когда въ

Россия завяжется настоящая политическая борьба, т. е. въ 70-хъ годахъ. Но передъ ними проходитъ десятилѣтне затихнѣе: 1863 - 1873 годы. Это — годы проведенія въ дѣйствіе «великихъ реформъ» царствованія Александра II-го. Передъ Тургеневымъ новый экзаменъ. Какъ извѣстно, наши радикалы отнеслись къ этимъ реформамъ далеко не сочувственно, осуждая ихъ половинчатость. Какъ выскажется Тургеневъ?

Уже 14 июля 1861 г. онъ пишетъ Полонскому: «это дѣло громадное — и то, что уже сдѣлано и осталось, составляетъ полный переворотъ въ русской жизни, который оцѣнить только потомки». И въ семилѣтнюю годовщину освобожденія крестьянъ Тургеневъ пишетъ главному рѣшателю этой реформы, Н. А. Милютину: «сегодняшній день въ годовщину конца стараго и начала новаго порядка вещей — я много думалъ о васъ». Однако, самъ себѣ онъ пока не находитъ мѣста въ этомъ порядкѣ. Онъ разочарованъ приемомъ публики. «Всѣ недовольны». Значитъ, «не всегда слѣдуетъ говорить правду». Онъ этого не можетъ — и хочетъ вовсе отойти отъ литературы, мотивируя это тѣмъ, что теперь — не время для Герсевъ. «Времена перемѣнились», пишетъ онъ Философовой (1874) въ отвѣтъ на ея попытку заинтересовать его «новыми людьми», народившимися въ Россіи. «Теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ...ничего крайняго; нужно трудолюбіе, терпѣніе... нужно не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы — въ смыслѣ *terre-à-terre*... Смѣшно толковать о герояхъ или художникахъ труда. Передъ только полезными и людьми не преклоняются. Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будутъ лучшіе люди... Народная жизнь переживаетъ воспитательный періодъ внутренняго хороваго развитія».

Тургеневъ и тутъ разсуждаетъ по-европейски. Онъ, очевидно, ожидаетъ теперь нормальнаго хода событій въ связи съ усвоеніемъ русской жизнью внесенныхъ въ нее началъ великихъ реформъ. И типъ Соломина — не-героя — уже зрѣетъ въ его воображеніи. Виноватъ-ли онъ, что ошибся?

Во всякомъ случаѣ, онъ скоро замѣтилъ свою ошибку. «Новые люди», рекомендуемые Философовой, — люди съ большимъ самоувѣреніемъ и претензіями, существовали

на самомъ дѣлѣ. И, слѣдуя своему инстинкту творчества, Тургеневъ скоро забылъ о своемъ зарокѣ — не писать больше за-границей. По поводу постоянного обвиненія прстивъ себя въ стѣужденіи отъ Россіи Тургеневъ, впрочемъ, имѣлъ свое особое мнѣніе. «Старушка публика», по его мнѣнію, была совершенно неправа относительно прошлой его литературной дѣятельности. «До моего сорокапятилѣтняго возраста я почти безвыѣздно жилъ въ Россіи», напоминалъ онъ своимъ критикамъ, «за исключеніемъ 1848-50 гг., въ теченіе которыхъ я именно написалъ «Записки Охотника», между тѣмъ какъ «Рудинъ», «Дворянское Гнѣздо», «Наканунъ» и «Отцы и дѣти» написаны въ Россіи». Однако, на будущее время Тургеневъ принимаетъ возраженіе въ расчетъ. «Я очень хорошо понимаю, что все постоянное пребываніе за-границей вредитъ моей литературной дѣятельности, — да и такъ вредитъ, что, пожалуй, и совсѣмъ ее уничтожить: но этого измѣнить нельзя... Грѣ болѣе и болѣе сказывающемся недостаткѣ образовъ музъ моей не съ чего будетъ писать свои картины. Тогда я — кисть подъ замокъ и буду смотрѣть, какъ другіе подвизаются».

Если Тургеневу не пришлось соблюсти этого строгаго зарока, то это потому, что муза его наполнилась новыми и новыми образами. Первымъ толчкомъ къ выходу изъ грезившаго Тургеневу тупика послужило знакомство его съ подлиннымъ русскимъ революціонеромъ «крупнаго» масштаба — П. Л. Лавровымъ, и то, что онъ отъ него узналъ.

Въ 1872 г. Лавровъ собирался издавать въ Цюрихѣ свой журналъ «Впередъ». Тургеневъ, по словамъ Лаврова, «жадно спрашивалъ его о цюрихской обстановкѣ... хотѣлъ знать подробности... Я съ удовольствіемъ передавалъ ему все, что могъ». Тургеневъ рѣшилъ самъ поѣхать въ Цюрихъ, чтобы тамъ лично познакомиться съ зеленой молодежью, собирающейся «идти въ народъ». Но поѣздка не удалась. Изъ воспоминаній Вѣры Фигнеръ известно, что она и ея товарки, узнавъ отъ Лаврова, что Тургеневъ собирается ихъ посѣтить, «замахали руками, объявляя, что не желаютъ подобныхъ «смотринъ» и ни за что не пойдутъ къ Тургеневу». Пришлось Лаврову отговорить Тургенева съ тѣсѣдки. Тѣмъ не менѣе, онъ остался въ связи съ Лавровымъ и продолжалъ внимательно слѣдить за событіями. Онъ «соглашался со всѣми»

главными положеніями» программы Лаврова; и только сдѣлалъ по поводу ея два замѣчанія.

«Мнѣ кажется», писалъ онъ ему лѣтомъ 1873 г., «что вы напрасно такъ жестоко нападаете на конституціоналистовъ-либераловъ, называя ихъ врагами. Мнѣ кажется, что переходъ отъ государственной формы, служащей имъ идеаломъ, къ вашей формѣ — ближе и легче, чѣмъ переходъ отъ существующаго абсолютизма». Второе замѣчаніе, вполне справедливое, предупреждало Лаврова «не придавать его журналу слишкомъ ученаго, философскаго характера». Это послѣднее замѣчаніе показываетъ, что Тургеневъ отлично видѣлъ «гамлетизмъ» Лаврова и хорошо разобрался въ роли Лаврова въ тогдашнихъ цюрихскихъ спорахъ. Бакунинъ защищалъ тамъ передъ молодежью идею бунта, Ткачевъ (какъ потомъ Ленинъ) стоялъ за политическую революцію, считая немедленную социальную революцію невозможной. Лавровъ былъ «постепеновшемъ». И Тургеневъ писалъ ему (5 декабря 1873 г.): «въ ея послѣднѣй глоссъ Ткачева вы совершенно правы; но молодыя головы вообще будутъ всегда съ трудомъ понимать, чтобы можно было медленно и терпѣливо готовить нѣчто сильное и внезапное... Имъ кажется, что медленно подготавливается только медленное, вродѣ постепенныхъ реформъ и т. д.»

А рядомъ Тургеневъ встрѣтилъ типъ «Донкихота». «Я видѣлъ здѣсь нашего несокрушимаго юношу (Германа) Лопатина); онъ — умница и молодецъ по-прежнему и сообщилъ мнѣ много интересныхъ фактовъ — свѣтлая глосса». «Пожалуй, Тургеневъ больше любилъ буйныхъ синовъ своихъ, свидѣтельствуешь и самъ Лопатинъ, ибо, по его понятіямъ, какъ было молодому человѣку и не побуйствовать. «Буйные» были ближе и понятнѣе душѣ его... Онъ зналъ, что мы потерпимъ крахъ, и все-же сочувствовалъ намъ»...

Въ то же время, однако, самъ Тургеневъ продолжалъ предвѣщать себѣ роль Гамлета. Въ 1879 г., въ отвѣтъ на Катковскій доносъ, онъ напечаталъ въ Петербургскихъ газетахъ письмо, въ которомъ заявлялъ, что его убѣжденія «не измѣнились, ни на йоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ; я не скрывалъ ихъ никогда и не передъ кѣмъ. Въ глазахъ нашей молодежи... я всегда былъ и остался «постепеновшемъ», либераломъ стараго покроя, въ англійскомъ династическомъ смыслѣ — человѣкомъ, ожидаю-

шимъ реформъ только свыше — принципiальнымъ противникомъ революціи. ...Молодежь была права въ своей оцѣнкѣ».

Опять «двоедушіе»? Дѣло въ томъ, что въ промежуткѣ 1873 и 1879, когда началось и закончилось «хождение въ народъ», была написана (1876) «Новь», и молодежь дѣйствительно отнеслась къ ней, такъ, какъ здѣсь сказано. «Ни одно изъ моихъ большихъ произведеній», пишетъ Тургеневъ Полонскому въ январѣ 1877 г., «не писалось такъ скоро, легко (въ три мѣсяца), съ меньшимъ количествомъ помарокъ... Идея у меня долго вертѣлась въ головѣ; я нѣсколько разъ принимался за исполненіе, но наконецъ написалъ всю штуку, какъ говорится, сплеча». Пслѣдовала обычная у Тургенева исторія. Сперва онъ пренебрежительно ожидалъ «суда глупца и смѣха толпы холодной», потомъ, обиженный пріемомъ, увѣрялъ, что «никогда не подвергался такому единодушному порицанію въ журналахъ» и снова твердо рѣшался болѣе написать и положить перо: пора въ отставку, къ ветеранамъ».

Въ чемъ же причина неудачи? Такіе судьи, какъ Лавровъ, Лопатинъ и Кропоткинъ читали «Новь» въ гранкахъ, и она имъ «очень понравилась». Тургеневъ, несомнѣнно, вѣрно уловилъ одинъ моментъ движенія... начало хожденія въ народъ въ 1873-74 гг. Но этотъ моментъ полудѣтскаго увлеченія быстро прошелъ. Движеніе стало концентрированнѣе, серьезнѣе. Послѣ отхода «чернопередѣльцевъ» оно вылилось въ терроръ, въ единоборство исполнительнаго комитета Народной Воли съ правительствомъ. Тургеневъ опоздалъ со своимъ романомъ; онъ не поспѣлъ и не могъ поспѣть за быстрымъ темпомъ борьбы. Кропоткинъ, — самъ участникъ «хожденія» 1874 г., вѣрно это отмѣтилъ. «Исбраженное въ «Нови», говоритъ онъ, «можетъ относиться къ раннимъ фазамъ движенія... Если бы Тургеневъ писалъ эту повѣсть нѣсколькими годами позже, онъ, навѣрное, отмѣтилъ бы появленіе новаго типа людей дѣйствія, т. е. новое видоизмѣненіе базаревскаго или инсаровскаго типа по мѣрѣ того, какъ движеніе росло въ ширину и въ глубину». Но «въ 1876 г. никто не могъ хорошо знать молодежь нашихъ кружковъ, не будучи самъ членомъ этихъ кружковъ». Еще бы, вѣдь это была строжайшая конспирація, огражденная отъ всего свѣта санкціей смертной казни.

Что же? Исполнилъ Тургеневъ свое намѣреніе забастовать и отчислиться къ «ветеранамъ»? Отнюдь нѣтъ. Тутъ начинается четвертый и послѣдній періодъ его творчества — трагическій періодъ, потому что онъ былъ обрванъ тяжелой болѣзью и смертью. Въ это время шла отърваная политическая борьба: «Донкихоты» и «буйные» были на первомъ планѣ. И жизнь дала Тургеневу послѣднюю радость: видимость примиренія съ молодежью. Какъ это повліяло на измѣненіе настроенія Тургенева, видно будетъ изъ слѣдующаго сопоставленія. Перваго марта 1878 г. Тургеневъ пишетъ: «о томъ, поѣду-ли я въ Петербургъ и когда, я самъ ничего не знаю. — И признаться, мало этимъ интересуюсь». А 29 декабря 1879 г. мы слышимъ: «тяжелыя и темныя времена переживаетъ теперь Россія, — но именно теперь и совѣстно жить чужакомъ. Это чувство во мнѣ становится все сильнѣе и сильнѣе, и я въ первый разъ ѣду на родину, не размышляя вовсе о томъ, когда я сюда вернусь, — да и не желая скоро вернуться».

Что же случилось за эти два года? Въ августѣ 1878 состоялся очередной — обычный — приѣздъ Тургенева — черезъ Москву въ деревню (Спасское). Повидавшись въ этотъ приѣздъ съ Толстымъ, Тургеневъ пишетъ: «стало быть я и недаромъ приѣзжалъ въ Россію». Въ февралѣ-мартѣ 1879 приѣздъ носитъ уже иной характеръ. Тургеневъ приѣхалъ въ Москву по дѣлу о наследствѣ покойнаго брата. Но онъ засталъ общественное мнѣніе взволнованнымъ всажданными событіями (выстрѣлъ Вѣры Засуличъ и первые террористическіе акты). «Либералы Русскихъ Вѣдомостей и профессора Московскаго университета устроили Тургеневу торжественную встрѣчу. На интеллектуальномъ обѣдѣ въ двѣдцать человекъ писатель расглагольствовалъ по поводу тоста «за любимаго и снисходительнаго наставника молодежи». Далѣе произошло совѣтъ «небывалое въ его литературной жизни». Сама молодежь — студенты Горнаго Института, гдѣ ему было запрещено полнѣе участвовать въ вечеринкѣ, обратилась къ нему съ адресомъ, въ которомъ говорилось: «вы одинъ въ настоящее время сумѣете объединить всѣ направленія и партіи, сумѣете оформить это движеніе... на вашъ могучій и чистый голосъ откликнется вся Россія, вся поймаютъ и отны и дѣти». Этотъ призывъ былъ основанъ на извѣстїи, упомянутомъ въ началѣ адреса. «Мы узнали,

что вы намѣреваетесь возвратиться въ Россію и принять въ дѣлахъ ея личное, непосредственное участіе».

Конечно, былъ преувеличенъ и этотъ слухъ, и основанныя на немъ надежды. Однако, все происшедшее въ этотъ пріѣздъ Тургенева произвело на него чрезвычайно сильное впечатлѣніе и могло, дѣйствительно, повліять на его планы. Мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ собственнаго отклика Тургенева; но, въ передачѣ той же молодежи, его отвѣтъ на адресъ звучалъ очень рѣшительно. «Послѣ всего, что мнѣ пришлось здѣсь видѣть и слышать, я прихожу къ заключенію, что я долженъ переселиться въ Россію. Я знаю, что это дѣло, за которое придется мнѣ взяться, очень нелегкое дѣло, — лучше бы было взяться за него молодому, энергичному человѣку, а не мнѣ... старику... Ну что же дѣлать! Я положительно не вижу и не знаю человѣка, который бы обладалъ болѣе серьезнымъ образованіемъ, лучшимъ положеніемъ въ обществѣ и большимъ политическимъ тактомъ, чѣмъ я... Вотъ и приходится мнѣ... Трудно это, конечно, для меня: приходится отъ мстѣго сткаться..., отсраться отъ семьи, съ которой я давно живу..., она за мной не поѣдетъ... тихо говорилъ онъ, потирая пальцами свой слегка красноватый лобъ». «Ну, да что же дѣлать», живо и громче обыкновеннаго произнесъ онъ — и взглянулъ на насъ: «вѣдь пришлось те малымъ жертвовать, когда началъ писать охотничьи рассказы, — значить и теперь можно». И онъ тряхнулъ головой и улыбнулся». Однако, тотъ же рассказчикъ продолжаетъ: «Тутъ пришелъ Григоровичъ, и Тургеневъ сказалъ: «не говорите при немъ, это вѣдь большой болтунъ, съѣзъ бываетъ тамъ... Онъ вывелъ молодыхъ людей въ корридоръ и сказалъ: «такъ я не говорю вамъ, господа, присѣйте, а до свиданія».

Можно сомнѣваться въ подробностяхъ этого разсказа. Но одно ясно: Тургеневъ, какъ онъ и писалъ въ поинеденномъ выше письмѣ, теперь «рвался» въ Россію. Въ концѣ января 1880 г. онъ туда и пріѣхалъ — и остался на пушкинскія празднества. Однако же, чествованія 1879 года не повторились. До молодежи дошли свѣдѣнія объ отрицательномъ отношеніи Тургенева къ террору. Въ самомъ дѣлѣ, онъ писалъ, напр., Половскому (5 апрѣля 1878) о «безобразномъ извѣстіи», «безумномъ покушеніи во вредъ той партіи, которая именно вслѣдствіе своихъ либеральныхъ убѣжденій должна больше всего дорожить».

жизнью государя, такъ какъ только отъ него и ждетъ спасительныхъ реформъ: всякая реформа у насъ, не исходящая свыше, немислима... Одна надежда на спокойный духъ и благоразуміе самого государя. Очень я этимъ взвѣсаванъ и огорченъ. ...Вотъ двѣ ночи какъ не сплю: все думаю, думаю, — и не до чего додуматься не могу». Очень дурное впечатлѣніе произвело также заявленіе Тургенева (конца декабря 1879 г. см. выше) о своемъ «постепенствѣ». «Не я шелъ къ молодому поколѣнію, говорилась тамъ, а оно шло ко мнѣ... Оваціи были мнѣ дороги, какъ доказательство проявившагося сочувствія къ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ я всегда былъ вѣренъ и... громко высказывалъ въ самыхъ рѣчахъ моихъ къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать». Преломленныя въ устахъ молодежи, эти рѣчи, какъ мы только что видѣли, звучали совсѣмъ въ иномъ тонѣ.

И вотъ, рѣчь Тургенева на пушкинскомъ празднествѣ (іюнь 1880) была «встрѣчена холодно». Эту холодность еще болѣе оттіняли тѣ оваціи, которыя выпали на долю Достоевскаго. Дамы, несшія вѣнокъ Достоевскому, встрѣтили при выходѣ изъ залы Тургенева, и одна изъ нихъ оттолкнула Тургенева со словами: «не вамъ, не вамъ». Отчасти это объяснялось, конечно, самымъ содержаніемъ рѣчей. Рѣчь Тургенева была не на очередную тему. Онъ говорилъ въ самомъ дѣлѣ о Пушкинѣ и о значеніи искусства, противопоставляя при этомъ «національное» — терминъ тогда уже монополизированный опредѣленнымъ политическимъ теченіемъ — и (просто-) «народное» и закончилъ пушкинскимъ: «ловтъ, не дорожи любовію народной». Этотъ конецъ прозвучалъ диссонансомъ. Отъ Тургенева не того ожидали — и предпочли ему непонятую по существу, но бившую по нервамъ истерику Достоевскаго.

Неудача въ политикѣ, однако, не охладила интереса Тургенева къ современности: въ немъ уже снова пробудился его художественный талантъ. Онъ не терялъ надежды — если не на «примиреніе» съ молодежью, то, по крайней мѣрѣ, на взаимное пониманіе, — и во всякомъ случаѣ хотѣлъ самъ для себя понять и воплотить въ новые образы новое явленіе въ русской жизни. Тургеневъ понималъ, конечно, что зимой 1879 года его чествовали, по преимуществу, интеллигенты-либералы. А ему хотѣлось связаться съ уклонявшимися отъ встрѣчи лѣвыми

(«Отечественныя Записки», «Дѣло», «Слово» уклонились тогда отъ чествованія). Онъ выбралъ своимъ посредникомъ Глѣба Успенскаго, который и помогъ ему устроить два свиданія съ писательской молодежью — главнымъ образомъ съ сотрудниками «Русскаго Богатства». Н. К. Михайловскій, правда, отъ участія въ свиданіи уклонился. Но «человѣкъ пятнадцатъ» желающихъ нашлось. По разсказу Русанова, разговоръ не вязался. Тургеневъ, несравненный разсказчикъ, выручилъ, принявшись разматывать нить своихъ воспоминаній. Недовольный оборотомъ бесѣды Русановъ поставилъ, наконецъ, въ упоръ жгучій вопросъ: «не думаете-ли вы, что у насъ на носу революція?» Тургеневъ отвѣчалъ уклончиво. «Пока нѣтъ общаго могучаго теченія, въ которомъ бы сливались отдѣльныя оппозиціонныя ручьи, о революціи рановато говорить... Впрочемъ, въ послѣдніе два года въ Россіи настроеніе бодрѣетъ... Поживемъ — увидимъ». Для воинствующихъ народниковъ такого отвѣта было мало. Но составилось еще второе собраніе — у миллионщика-мещанина и благороднѣйшаго человѣка, только-что умершаго бѣднякомъ въ Ниццѣ, Сибирякова. Оно вышло еще неудачнѣе. Демократическая публика чувствовала себя стѣсненной среди роскошной обстановки богатаго салона, а Тургеневъ былъ смущенъ великолѣпнымъ предѣлательскимъ кресломъ, въ которое его усадили хозяинъ лицомъ къ разсаженной въ порядкѣ слушателей пишущей братіи. Гаршинъ и тутъ поставилъ Тургеневу въ упоръ вопросъ: «вѣренъ-ли путь борьбы, на который стали революціонеры, или же, какъ прежде, надо продолжать идти гъ гародъ?» Тутъ, конечно, разумѣлся переходъ къ террору. Естѣмъ стало неловко отъ такой оголенной постановки вопроса. Тургеневъ улыбнулся. «Я живу въ Россіи наѣздомъ и не берусь рѣшать сложные вопросы политики.. Такъ ли надо вести дѣло, какъ оно ведется теперь — не знаю. Но очевидно, что хожденіе въ народъ не удалось». И Тургеневъ свернулъ на темы «Нови», закончивъ великолѣпно разсказаннымъ анекдотомъ о томъ, какъ царь, проѣхавъ мимо деревни, погрозилъ мужикамъ пальцемъ и какъ атсъ палешъ выросъ въ воображеніи крестьянъ до гигантскихъ размѣровъ.

Однако же, новыя знакомства, сведенныя въ этотъ пріѣздъ, имѣли и положительное значеніе. Тургеневъ, между прочимъ, подчеркивалъ на этихъ свиданіяхъ, что «Новь»

не кончена. «Прямо оборваны нити, и какъ бы мнѣ хотѣлось, если только буду въ состояніи, написать продолженіе или что-нибудь подобное въ томъ же родѣ». «Въ «Нови», вспоминаетъ Златовратскій эти разговоры, онъ только намѣтилъ нѣкоторыя черты по своимъ заграничнымъ знакомымъ, а теперь занять мыслью глубоко изучить это явленіе; у него уже есть планъ — изобразить русскаго социалиста — именно русскаго, который не имѣетъ ничего общаго, въ главныхъ психическихъ основахъ, съ социалистомъ западнымъ». И Тургеневъ «все разспрашивалъ о новыхъ, оригинальныхъ людяхъ, о существованіи которыхъ онъ могъ догадываться, но видѣть и знать которыхъ не могъ». Это, конечно, были тѣ типы, которые описалъ потомъ Кравчинскій-Степнякъ, и понятно, почему въ 1880 г. Тургеневъ не могъ ихъ видѣть; они работали въ тайникахъ Исполнительнаго Комитета.

Мысль о новомъ романѣ, связанная съ мыслью поселиться въ Россіи, такъ и не оставляла Тургенева до конца его дней. Проведя въ послѣдній разъ въ 1881 г. лѣто въ своемъ Спасскомъ, онъ ни за что не хочетъ продавать его. «Продажа Спасскаго была бы для меня равносильной съ окончательнымъ рѣшеніемъ никогда не возвращаться въ Россію». «Продать Спасское значитъ для меня лечь въ гробъ, а я еще желаю пожить», пишетъ онъ 10 августа 1881 г. И еще 2 декабря 1882 г. онъ пишетъ Полонской: «вернусь весной или лѣтомъ 83 года — или, можетъ быть, къ новому 1884 г.». И даже тогда, когда, нѣсколько недѣль спустя, выясняется для Тургенева неизлечимость недуга, онъ пишетъ Полонской (25 декабря 1882): «меня не только тянетъ, — меня рветъ въ Россію, — да ты все-таки сиди!»

Политическая мысль Тургенева тоже не замираетъ. Она движется въ направленіи послѣднихъ петербургскихъ разговоровъ. Въ разгарѣ болѣзни, въ маѣ 1882 г. Тургеневъ говоритъ съ Лавровымъ о намѣченной темѣ новаго романа, гдѣ передовая русская натура будетъ противоположена европейской. А нѣсколькими мѣсяцами раньше тому же Лаврову онъ сообщалъ о новой переимѣнѣ своихъ взглядовъ. «Прежде я вѣрилъ въ реформы сверху, но теперь въ этомъ рѣшительно разочаровался. Я самъ съ радостью присоединился бы къ движенію молодежи, если бы я не былъ такъ старъ и вѣрилъ въ возможность дви-

женія снизу». 13 июня 1883 г., одной ногой въ могилѣ, Тургеневъ зоветъ къ себѣ Лопатина: «необходимо васъ увидѣть еще разъ».

Проектъ романа, который бы продолжилъ «Новъ», ушелъ съ Тургеневымъ въ могилу. Но объ идеѣ противоположенія русскаго революціонера западному мы узнаемъ изъ одного разговора Тургенева съ Флоберомъ, переданнаго Гонкуромъ. Друзья сидѣли вмѣстѣ въ ложѣ театра и смотрѣли французскую пьесу, въ которой сурово осуждались незаконныя отношенія въ бракѣ. Тургеневъ былъ пораженъ сочувственнымъ отношеніемъ французскихъ гусателей къ идеѣ пьесы и высказалъ Флоберу мысль о «различіи между расами», — старую мысль, общую ему съ Герценомъ. «Вы унаслѣдовали отъ римлянъ ихъ преклоненіе передъ закономъ... Мы не таковы... Мы...» Тургеневъ тогда скрывалъ несбидное для собесѣдниковъ выраженіе. Гонкуръ подсказалъ ему: «люди гуманности»? «Да, это такъ, подхватилъ Тургеневъ. — У насъ меньше услужливыхъ, мы гуманнѣе». Такъ сказала въ европейцѣ русская стихія.

А что касается стихій «донкихотства» въ послѣдніе годы Тургенева, о ней свидѣтельствуетъ знаменитое стихотвореніе въ прозѣ, «Порогъ», чрезъ который смѣло перешла русская дѣвушка, обрекая себя на жертву и «на густуяленіе гостояя». «Дура», проскрежеталъ кто-то сзади, когда желѣзная дверь закрылась за ней. «Святая», пронеслось откуда-то въ отвѣтъ». Произведеніе это, очевидно, навѣяно образомъ Софьи Перовской.

Рѣшето заключенія этого очерка, далеко, конечно, не исчерпывающаго все значеніе Тургенева, приведу двѣ оушки — одну, принадлежащую самому Тургеневу, и другую, сдѣланную той самой молодежью, къ которой его такъ тянуло не только какъ къ предмету наблюденія, но и какъ къ носительницѣ эмоций, передъ которыми онъ преклонялся, какъ передъ источникомъ вѣчнаго идеала и за несостоятѣльноты которыхъ готовъ былъ осудить самого себя. Сыну М. А. Милютинной задано было школьное сочиненіе на тему «Мироззрѣніе Тургенева». Чадолубивая мать просила самого Тургенева дать матеріалъ. Едва ли отвѣтъ Тургенева заслужилъ бы высшій баллъ, если бы конша положилъ его дѣйствительно въ основу школьнаго работы. Но какъ попытка моментальнаго автопортрета, эта самооушка крайне интересна. Тургеневъ отвѣ-

чать: «не знаю же я собственного лица. Но такъ какъ мнѣ не хотѣлось бы огорчить вашего сына, скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдой людской физиономіи. Ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступность поэзіи. Все человеческое мнѣ дорого; славянофильство чуждо, такъ же какъ и ортодоксія». Трудно сказать такъ много въ немногихъ словахъ. Даже и тѣ, кто не найдеть здѣсь полной характеристики Тургенева, должны будутъ признать, что здѣсь сведено все то, что наиболѣе цѣнилъ въ себѣ самъ Тургеневъ. Конечно, надо принять во вниманіе и его скромность, — отнюдь не показную. Его цитата изъ Пушкинскаго стихотворенія «Поэтъ и чернь» напоминаетъ, впрочемъ, что другой стороной этой скромности была своего рода гордость и сознаніе собственного достоинства. Многократно обиженный въ своемъ авторскомъ самолюбіи враждебнымъ отхошеніемъ толпы и критики, Тургеневъ съ извѣстнымъ самоудовлетвореніемъ цитировалъ въ письмахъ и иллеровскіе двустихіе, утѣшая своихъ друзей въ подобныхъ литературныхъ неудачахъ:

Wer für die Besten seiner Zeit gelebt,
Der hat gelebt für alle Zeiten.

И своему старому университетскому берлинскому товаришу барону Ф. онъ отвѣчалъ за годъ до смерти: «оглядываясь назадъ и подводя итогъ, намъ не приходится слишкомъ жалѣть о томъ, какъ прошла наша жизнь. Сдѣлала, что могли; *fiant meliora potentes*».

Общее признаніе не пришло и по смерти. Но признаніе тѣхъ, къ кому всѣхъ больше тянулся наклонѣнъ Тургеневъ — признаніе русской молодежи того поколѣнія звучало единодушно. Оно сказалось, это признаніе, когда 27 сентября въ Петербургѣ, въ день похоронъ Тургенева, Народная Воля опубликовала прокламацію, въ которой говорилось о Тургеневѣ слѣдующее: «Не за красоту слога, не за поэтическія и живыя описанія картинъ природы, наконецъ, не за правдивыя и неподражаемо-талантливыя изображенія характеровъ вообще такъ страстно любить Тургенева лучшая часть молодежи, а за то, что Тургеневъ былъ честнымъ провозвѣстникомъ иде-

аловъ цѣлаго ряда молодыхъ поколѣній, пѣвцомъ ихъ непримѣрнаго, чисто русскаго идеализма, изобразителемъ ихъ внутреннихъ мукъ и душевной борьбы... Это типъ, который мѣ подражала молодежь и которые сами создавали жизнь».

Итакъ, вотъ за что цѣнили Тургенева его предполагаемые антагонисты при жизни: онъ творилъ жизнь, этотъ Гамлетъ. Изъ этого одного видно, какъ несправедливо ограничивать его значеніе его лирикой и сердечными переживаніями. Насколько лучше понимали роль Тургенева наши старые революціонеры, какъ Кропоткинъ, признававшій, что типы Тургенева не только отражали, но и «дѣлали исторію». Якубовичъ-Мельшинъ, авторъ только-что приведенной прокламаціи также призналъ за «многими героями Тургенева историческое значеніе». Историческая и логическая связь сказалась, дѣйствительно, въ самой филиаціи этихъ типовъ: въ томъ, какъ, совершенно независимо отъ воли или предвидѣнія самого автора, эти типы воплощались въ его воображеніи въ порядкѣ хода самого историческаго процесса. Тургеневъ не случайно убилъ Бакунина-Рудина (1855) на французскихъ баррикадахъ 1848 года, и отправилъ людей, «еще живыхъ, но уже сошедшихъ съ земаго поприща» — питомцевъ «Дворянскаго Гнѣзда» (1867) — Лизу въ монастырь, Лаврецкаго — въ про странство. «Зачѣмъ возвращаться къ нимъ, — всзвращаться къ прошлому», гласятъ послѣднія строки его романа. И онъ обращается отнынѣ къ будущему, не вступая, опять-таки, въ борьбу съ исторіей, а лишь слѣдуя ей. Когда «бориовъ за освобожденіе родного народа еще не было на Руси» (слова Якубовича), Тургеневъ отправилъ своихъ первыхъ революціонныхъ бориовъ въ «Наканувѣ» (1859) освобождать Болгарію, сдѣлавъ болгарисомъ и героя. Но по «Базаровскому» типу уже «воспиталось цѣлое поколѣніе», и Рахметовъ Чернышевскаго, былъ лишь вариантомъ - каррикатурой Бззарова. Затѣмъ, отмѣтивъ оскуднѣніе и разбродъ интеллигентской мысли послѣ освобожденія крестьянъ въ «Дымѣ», онъ, однако, не остановился на этомъ моментѣ Потугинскаго «гамлетовскаго» скепсиса. Онъ отмѣтилъ первыхъ пионеровъ русскаго «донкихотства» — представителей есвой общественной волны въ «Нови», и уже готовился описать послѣднюю — боевую — стадію русскаго социализма — именно, какъ русскаго, когда смерть

наложила на его уста печать молчанія. Здѣсь вся исторія русской общественности за полвѣка отъ 30-хъ до 80-хъ годовъ. — исторія правдивая, чуждая какъ панегирика, такъ и злостнаго памфлета. Эта «золотая середина», которую такъ осуждали въ Тургеневѣ современники и которую должно понять потомство, не мѣшала, какъ мы видѣли, Тургеневу быть тѣмъ, что въ дореволюціонное время носило у насъ названіе «учителей жизни». Такимъ учителемъ жизни оказался Тургеневъ даже и въ области своего лирическаго творчества. «Тургеневскія дѣвушки» стали нарицательнымъ словомъ, и Кропоткинъ выдалъ въ этомъ отношеніи Тургеневу свидѣтельство, равносильное исторической оцѣнкѣ. «Онъ насъ научилъ», писалъ Кропоткинъ въ своихъ «Запискахъ революціонера», «какъ лучшіе люди относятся къ женщинамъ и какъ они любятъ. На меня и на тысячи моихъ современниковъ эта часть ученія Тургенева произвела неизгладимое впечатлѣніе, — гораздо болѣе сильное, чѣмъ всѣ лучшія статьи въ защиту женскихъ правъ». Въ послѣдующихъ изданіяхъ «Воспоминаній» Кропоткинъ счелъ нужнымъ подтвердить эту оцѣнку актомъ автобіографическаго характера. «Если мнѣ выпало рѣдкое счастье найти жену по сердцу и прожить съ ней счастливо больше двадцати лѣтъ, этимъ я обязанъ Тургеневу».

Объ «учителяхъ жизни» теперь давно забыли. Мы снова переживаемъ «переходный» періодъ и въ жизни русскаго интеллигента — особенно въ тѣхъ исключительныхъ условіяхъ, въ какихъ этотъ интеллигентъ теперь находится. Снова вѣтъ центральной идеи, и снова господствуетъ разбродъ, — совершенно какъ въ то время, когда Тургеневъ утверждалъ «свободу индивидуальнаго мнѣнія». Можетъ быть, съ усложненіемъ русской жизни, время «учителей жизни» и вообще прошло безвозвратно. Это было бы навѣрное такъ, если бы русской жизни было позволено развиваться дальше тѣмъ европейскимъ путемъ, на который она давно вступила. Но толчекъ назадъ, данный есдвореніемъ большевистской диктатуры, ставитъ людъ вопросъ многое, — въ томъ числѣ и дальнѣйшее направленіе мысли русской интеллигенціи. Можетъ быть и ей суждено по-прежнему развиваться скачками, изъ одной крайности въ другую, слѣдуя то тому, то другому очередному «учителю жизни». Трагедія Тургенева могла бы послужить лѣкарствомъ отъ рецидива этого

нашего застарѣлаго недуга. Съ своимъ чисто европейскимъ чувствомъ мѣры, съ своимъ преобладаніемъ разума надъ страстью, съ своимъ ясновидѣніемъ и провидѣніемъ, Тургеневъ больше чѣмъ кто-нибудь другой изъ русскихъ писателей могъ бы помочь намъ возстановить потерянный контактъ съ европейской культурой, связать разорванные концы и повести русскую интеллигенцію дальше — путемъ, одинаково чуждымъ преклоненія и передъ безначаліемъ и передъ насиліемъ.

П. Милюковъ.